

Висенте Бласко-Ибаньес

Толедский собор



Висенте Бласко-Ибаньес

Толедский собор

«Public Domain»

1911

Бласко-Ибаньес В.

Толедский собор / В. Бласко-Ибаньес — «Public Domain», 1911

«Начинало светать, когда Габриэль Луна подошел к собору, но на узких улицах Толедо была еще ночь. Голубой свет зари едва пробивался между выступами крыш и разливался более свободно только на маленькой площади Ayuntamiento. Из полумрака вырисовывались при бледном освещении зари невзрачный фасад архиепископского дворца и две черные башни городской ратуши – мрачного здания времени Карла Пятого...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I | 5 |
| II | 18 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

Висенте Бласко-Ибаньес

Толедский собор

I

Начинало светать, когда Габриэль Луна подошел к собору, но на узких улицах Толедо была еще ночь. Голубой свет зари едва пробивался между выступами крыш и разливался более свободно только на маленькой площади Ayuntamiento. Из полумрака вырисовывались при бледном освещении зари невзрачный фасад архиепископского дворца и две черные башни городской ратуши – мрачного здания времени Карла Пятого.

Габриэль долго ходил по пустынной маленькой площади, надвинув капюшон плаща до бровей и не переставая сильно кашлять. Не останавливаясь ни на минуту и стараясь защитить себя ходьбой от холода, он смотрел на вход в собор со стороны площади – на дверь Прощения. Только с этого фасада церковь имела величественный вид. Луна вспомнил другие знаменитые соборы, стоящие на возвышении, выделяясь среди окружающих зданий, открытые со всех сторон, гордо выставяющие на показ свою красоту, и сравнивал их мысленно с толедским собором, праматерью испанских церквей, тонущим в потоке окружающих зданий, которые так застилают его, что его внешние украшения виднеются только в просветах соседних узких улиц. Габриэль, хорошо знавший внутреннюю красоту собора, вспоминал обманчивые с виду дома на востоке, жалкие снаружи, а внутри разукрашенные алебастром и филигранной работой. Не напрасно жили в Толедо целыми веками евреи и мавры. Их нелюбовь к внешней пышности, по-видимому, повлияла и на архитектуру собора, утопающего среди домов, которые теснятся вокруг него, стараясь укрыться в его тени.

Только на площади Ayuntamiento христианский храм мог обнаружить все свое величие. Тут, под открытым небом, возвышались при свете зари три стрельчатые арки главного фасада и колокольня, огромная, с выступающими ребрами. Крышу её образовал alcuzup – как бы черная тиара с тремя коронами, расплывавшаяся в полумраке туманного свинцово-серого зимнего утра.

Габриэль с нежностью смотрел на закрытый тихий храм, где жили его родные и где он провел лучшее время своей жизни. Сколько лет прошло с тех пор, как он был здесь в последний раз!.. Он стал с нетерпением ждать, чтобы открылись, наконец, двери собора.

Он приехал в Толедо из Мадрида накануне вечером. Прежде чем запереться в своей маленькой комнатке в гостинице del Saagre (прежней Meson del Sevillano, где жил Сервантес), ему непременно хотелось взглянуть на собор. Он бродил около часа вокруг него и слушал лай сторожевой собаки, испуганной шумом шагов в тихих, мертвых маленьких улицах. Вернувшись в свою комнату, он не мог заснуть от радости, что вернулся на родину после долгих тяжелых лет скитания. Было еще темно, когда он снова вышел из гостиницы и направился к собору, чтобы дожидаться открытия дверей.

Чтобы занять время ожидания, он стал разглядывать красоты и недостатки храма, произнося вслух свои суждения, как будто хотел призвать в свидетели каменные скамьи и чахлые деревья маленькой площади.

Перед входом в церковь тянулась решетка, верх которой украшен был вазами XVIII века. За решеткой была паперть, выложенная широкими плитами. Там каноники устраивали в прежние времена торжественные приемы, и там выставались для забавы толпы в праздничные дни «Гиганты» – манекены громадных размеров.

Посередине входа открывалась дверь Прощения – огромная, сводчатая, с множеством ухаживших вглубь и постепенно суживающихся стрельчатых сводов, украшенных статуями апо-

столов, маленькими ажурными балдахинами и щитами с изображениями львов и замков. На колонне, разделявшей две половинки двери, представлен был Христос, стоя, в царской мантии и в венце, изможденный, худой, с тем болезненным и грустным выражением лица, которое средневековые художники придавали своим фигурам, чтобы изобразить божественную благодать. На тимпане фронтона был барельеф, изображавший Мадонну, окруженную ангелами и надевающую ризу на святого Идлефонса. Это благочестивое предание воспроизведено было в разных местах собора, точно церковь им больше всего гордилась. По одну сторону главного входа находилась дверь на колокольню, а по другую – «дверь нотариусов». Через нее в прежние времена входили торжественным шествием нотариусы, вступавшие в должность, для произнесения клятвы свято выполнять свои обязанности. Обе двери украшены были каменными статуями и множеством фигур и эмблем, тянувшихся между арками до самого верха.

Над этими тремя дверями пышного готического стиля возвышался второй корпус в греко-римском стиле и почти современной работы; он казался Габриэлю Луна резким диссонансом, как нестройные трубные звуки среди симфонии. Христос и двенадцать апостолов представлены были больше чем в натуральную величину, сидящими за трапезой, каждый отдельно в своей нише над порталом главного входа, между двумя контрфорсами, похожими на башни и разделявшими фасад на три части. Несколько дальше тянулись полукругом арки двух галерей во вкусе итальянских дворцов; Габриэль вспомнил, как часто он перегибался через перила галерей в детстве, когда приходил играть к звонарю.

«Богатство церкви, – подумал Луна, – принесло вред искусству. В бедном храме сохранилось бы единство первоначального фасада. Но когда у толедских архиепископов было одиннадцать миллионов годового дохода, и у капитула – столько же, то они не знали, куда девать деньги, и предпринимали архитектурные работы, затевали перестройки, и падающее искусство создавало такие уродливые произведения, как эта Тайная Вечеря».

Над вторым корпусом возвышался третий: две большие арки, пропускавшие свет в росетку срединного нэфа; а на самом верху шла каменная балюстрада, извивавшаяся вдоль всех изгибов фасада, между двумя выступающими громадами – колокольной и мозарабской часовнею.

Габриэль прервал свой осмотр, заметив, что он не один на площади перед собором. Было уже почти светло. Несколько женщин прошли мимо церкви, скользя вдоль решетки; они шли, опустив голову, спустив на глаза мантилью. По звонким плитам тротуара застучали костыли проходившего калеки. Несколько дальше, за колокольной, под большой аркой, соединяющей дворец архиепископа с собором, собрались нищие, чтобы занять места у входа в монастырь. Богомольцы и нищие знали друг друга. Каждое утро они приходили первые в собор и ежедневные встречи установили между ними братские отношения. Покашливая, они жаловались друг другу на утренний холод и на звонаря, медлившего открыть двери.

Наконец, за аркой архиепископского дворца открылась дверь; то была дверь лестницы, которая вела на колокольню и в квартиры церковных служащих. Оттуда вышел человек и перешел через улицу с огромной связкой ключей в руках. Окруженный ранними посетителями храма, он стал открывать стрельчатую дверь нижнего монастыря, узкую, как бойница. Габриэль узнал звонаря Мариано. Чтобы не показаться ему на глаза, он отошел в сторону, предоставляя остальным врываться в собор, точно в страхе, что у них отнимут их места.

Спустя несколько времени, он решил, наконец, последовать за другими и спустился вниз по семи ступеням. Собор, построенный в углублении почвы, был ниже соседних улиц.

Внутри ничто не изменилось. Вдоль стен тянулись большие фрески Байе и Маельи, изображавшие подвиги и славу святого Евлогия, его проповедничество в стране мавров и жестокие пытки, которым его подвергали язычники; последних легко было узнать по высоким тюрбанам и огромным усам. Во внутренней части двери del Mollete изображена была варварская пытка младенца Гвардия – предание, порожденное одновременно в разных католических горо-

дах яростным антисемитизмом: картина изображала заклание христианского младенца жестокими с виду евреями, которые похищают его из дому, и распинают, чтобы вырвать у него сердце и выпить его кровь.

Сырость разрушила в значительной степени эту фантастическую картину, но Габриэль все-таки мог еще различить злое лицо еврея, стоящего у подножья креста, и свирепый жест другого, который, держа нож во рту, наклоняется, чтобы передать ему сердце маленького мученика; эти театральные фигуры не раз тревожили его детские сны.

В саду, расположенном между четырьмя портиками монастыря, росли среди зимы высокие лавры и кипарисы, и ветви их пробивались сквозь решетки, замыкающие пять аркад с каждой стороны до высоты капителей. Габриэль долго глядел на сад, расположенный настолько выше монастырского двора, что голова Габриэля была на одном уровне с землей, которую некогда обрабатывал его отец. Наконец-то он снова видит этот уголок земли, этот «patio», превращенный в фруктовый сад канониками прежних веков. Он вспоминал о нем не раз, гуляя по Булонскому лесу или по Гайд-Парку в Лондоне. Сад толедского собора казался ему самым прекрасным в мире, потому что это был первый сад, который он видел в жизни.

Нищие, сидевшие на ступеньках, стали с любопытством следить за ним глазами, не решаясь протянуть ему руку за милостыней. Они не могли понять, кто этот незнакомец, явившийся на заре в потертом плаще, смятой шляпе и стоптанных башмаках – турист ли, или такой же нищий, как они, который ищет, где ему примоститься, чтобы просить подаяния.

Чтобы избавиться от их назойливого любопытства, Габриэль прошел дальше и дошел до двух дверей, соединяющих монастырь с церковью. Одна из них, дверь Введения, вся из белого камня, отделанная тончайшей резьбой, сверкала, как драгоценная игрушка ювелирной работы. Немного дальше за дверью находилась клетка лестницы Тенорио, по которой архиепископы спускались из своего дворца в собор. Стены лестницы украшены были готическими узорами и большими щитами, а внизу, почти касаясь земли, находился знаменитый «световой камень» – тонкая полоса мрамора, прозрачная как стекло, она освещает лестницу и составляет главный предмет восхищения крестьян, когда они осматривают собор. Затем шла дверь святой Каталины, черная с позолотой, украшенная разноцветными листьями, изображениями замков и львов и двумя статуями пророков.

Габриэль отошел на несколько шагов, услышав, что изнутри отпирают замок. Дверь открывал звонарь, обходивший церковь, открывая все входы. Из двери выскочила прежде всего собака, вытянув шею и громко лая, очевидно от голода. Затем появились два человека в темных плащах, с надвинутыми на глаза шляпами. Звонарь придержал половинку двери, чтобы дать им пройти.

– С добрым утром, Мариано! – сказал один из них, прощаясь с звонарем.

– С добрым утром и спокойной ночи. Вы ведь спать идете... Приятного сна!

Габриэль узнал ночных сторожей. Запертые в церкви с вечера накануне, они отправлялись теперь домой спать. А собака побежала в семинарию, где для неё припасали объедки от обеда семинаристов. Там она оставалась всегда до тех пор, пока сторожа не приходили за нею, чтобы снова запереть ее с собой на ночь в церковь.

Луна спустился по ступенькам и проник в собор. Едва он ступил на плиты храма, как почувствовал на лице ласку свежего и несколько липкого воздуха подземелья. Было еще совершенно темно. Наверху сотни цветных стекол, освещавших пять кораблей собора, загорались утренним светом. Они казались волшебными цветами, раскрывающимися навстречу лучам дня. Внизу, между огромными колоннами, образующими каменный лес, все еще царил мрак, разрываемый местами красным пламенем лампад, зажженных в часовнях. Летучие мыши носились промеж скрещивающихся колонн, как бы стараясь продлить свое владычество в храме, пока не скользнут в окна первые лучи солнца. Они тихо пролетали над головами людей, склоненных у алтарей и молившихся вслух с радостным чувством, что в этот час они в храме

как у себя дома. Другие разговаривали с церковными служащими, которые входили во все двери, сонные, зевая, как рабочие, отправляющиеся в мастерские. В темноте мелькали черные пятна длинных ряс, направлявшихся к ризнице и останавливавшихся перед каждым алтарем для долгого коленопреклонения. Вдали двигался невидимый в темноте звонарь, – об его присутствии можно было догадаться по звону ключей и по скрипу открываемых дверей.

Храм просыпался. Громко хлопали двери, и шум отзывался во всех углах. В ризнице натирали пол с шумом, напоминавшим скрип огромной пилы. Служки счищали пыль с знаменитых кресел хора, и шум разносился по всей церкви. Собор точно просыпался от сна, нервно потягивался и жалобно стонал от каждого прикосновения. Звуки шагов будили оглушительное эхо, точно глубоко сотрясая все могилы королей, архиепископов и воинов, погребенных под плитами. В соборе было еще холоднее, чем снаружи. К низкой температуре присоединялась сырость почвы, прорезанной дренажными трубами, и просачивание подпочвенных стоячих вод, которые заливали плиты и служили постоянным источником простуды каноников, составляющих хор, – «укорачивая их жизнь», как они говорили жалобным голосом.

Утренний свет стал разливаться во всем соборе. Из рассеявшегося мрака выступала белизна толедского собора, блеск его камня, делающий его самым прекрасным и радостным храмом на свете. Выступали во всей своей красоте и смелой стройности восемьдесят восемь пилястр, мощных пучков колонн, смело поднимающихся вверх, белых как затвердевший снег, скрещивающих и сплетающих свои ветви, служа подпорой для сводов. А наверху открывались окна со своими цветными стеклами, похожие на волшебные сады, в которых распускаются светящиеся цветы.

Габриэль сел на подножие одной пилястры, между двумя колоннами, но должен был подняться через несколько мгновений. Сырость камня, могильный холод, наполнявший весь собор, пронизывал его до костей. Он стал переходить с места на место, привлекая внимание молящихся, которые прерывали молитвы, чтобы глядеть на него. Незнакомец, явившийся в храм в ранние часы, принадлежавшие завсегдаям собора, возбуждал общее любопытство. Звонарь встретился с ним несколько раз и каждый раз оглядывал его с некоторым беспокойством, – этот незнакомец, имевший вид бродяги, не внушал ему большего доверия, особенно в такой ранний час, когда трудно уследить за сокровищами часовен.

Около главного алтаря Габриэль встретил еще одного человека. Его он знал. Это был Эвзебий, ключарь часовни Святилища. Его звали «Голубым», *Azul de la Virgen*, потому что он носил во время церковных празднеств голубую одежду. Прошло шесть лет с тех пор, как Габриэль видел его в последний раз, но он не забыл его жирную фигуру, прыщеватое лицо, низкий морщинистый лоб, окаймленный взъерошенными волосами, и бычачью шею, превращавшую его дыхание в пыхтение. Все служащие, жившие в верхнем монастыре, завидовали ему, так как его должность была очень доходная и он пользовался благосклонностью архиепископа и каноников.

«Голубой» считал собор как бы своей собственностью и почти готов был выгнать из храма всех, кто ему не нравился. Увидав прогуливающегося по церкви бродягу, он устремил на него дерзкий взгляд и нахмурил брови – где это он видел этого молодца? – Габриэль заметил, что он напрягает память, и чтобы отделаться от его пытливого взгляда, повернулся к нему спиной, делая вид, что рассматривает образ, прислоненный к одной пилястре.

Спасаясь от любопытства, которое вызывало его присутствие в храме, он перешел в монастырь, где чувствовал себя свободнее, так как никто не обращал на него внимания. Нищие разговаривали между собой, сидя на ступеньках двери *del Mollete*. Мимо них проходили священники, закутанные в плащи и направлявшиеся в церковь через двери Введения. Нищие здоровались с ними, называя их по именам, но не протягивая им руку за подаванием. Они их знали; это были свои люди, а к своим не обращаются за милостыней. Они пришли сюда для чужих,

и терпеливо ждали «англичан», – уверенные, что все туристы, приезжающие с утренним поездом из Мадрида, непременно англичане.

Габриэль стал подле двери, зная, что через нее входят жители верхнего монастыря. Они проходят через арку архиепископского дворца, спускаются по лестнице на улицу и входят в собор через дверь del Mollete. Луна, хорошо знакомый с историей собора, знал и о происхождении этого названия. Вначале она называлась дверью Правосудия, потому что там главный папский викарий давал аудиенции. Потом ей присвоили название del Mollete, потому что каждый день, после главной мессы, священник со своими аколитами приходил туда благословлять полуфунтовые хлеба – molletes, – которые раздавались бедным. Более шестисот фанег¹ хлеба, насколько помнил Луна, раздавались ежегодно бедным, – но это было тогда, когда собор имел более одиннадцати миллионов годового дохода.

Габриэля стесняли пытливые взгляды церковных служителей и молящихся, входящих в церковь. Все это были люди, привыкшие ежедневно встречать друг друга в одни и те же часы, и появление нового лица возбуждало их любопытство, нарушая однообразие их жизни.

Он отошел, но несколько слов, сказанных нищими, заставили его вернуться.

– Вот «Деревянный шест!»²

– Здравствуйте, синьор Эстабан! Маленького роста человек, в черной одежде, бритый, как священник, спускался вниз по лестнице.

– Эстабан!.. Эстабан!.. – тихо произнес Луна, становясь между ним и дверью.

«Деревянный шест» посмотрел на него светлыми как янтарь глазами – равнодушными, как у человека, привыкшего проводить долгие часы в соборе, не давая строптивому разуму нарушать свое блаженное спокойствие. Он долго колебался, точно не мог поверить отдаленному сходству этого бледного, изможденного лица с другим, сохранившимся в его памяти. Наконец, он все-таки с удивлением и печалью признал незнакомца.

– Габриэль... брат мой! Неужели это ты?

Застывшее лицо старого служителя церкви, уподобившееся недвижимым колоннам храма, оживилось нежной улыбкой.

Крепко пожав друг другу руки, братья направились вместе в собор.

– Когда ты приехал?.. Откуда?.. Как ты жил это время?.. Зачем приехал сюда?

«Деревянный шест» выражал свое изумление нескончаемыми вопросами, не давая брату времени отвечать.

Габриэль рассказал, что приехал накануне, и что ждет у собора уже с рассвета.

– Теперь я из Мадрида, – сказал он, – но до того побывал во многих местах: в Англии, во Франции, в Бельгии и в других странах. Я кочевал из страны в страну, в постоянной борьбе с голодом и с жестокостью людей. Нищета и полиция следуют за мной по пятам. Когда я хочу остановиться где-нибудь, измученный этой жизнью, этим существованием вечного жида, страх перед судом заставляет меня снова пуститься в путь... Такой, каким ты меня видишь, Эстабан, больной, с преждевременно разрушенным здоровьем, уверенный в близости смерти, я, оказывается, очень опасный человек. Вчера в Мадриде мне угрожали тюрьмой, если я останусь дольше, и мне пришлось сейчас же сесть в поезд и уехать. Но куда? Свет велик, – однако для меня и для подобных мне он так суживается, что не остается ни одной пяди земли, на которую можно было бы спокойно ступить. Во всем мире у меня остались только ты и этот тихий уголок земли, где ты живешь спокойной, счастливой жизнью. Я приехал к тебе; если ты меня прогонишь, мне некуда будет пойти умереть, кроме как в тюрьму или в больницу, – если меня там примут, узнав, кто я.

¹ Фанега – около 55 литров.

² Деревянный шест (vara de palo) – знак отличия церковного служителя, обязанность которого заключается в том, чтобы следить за тишиной в храме во время служб. Отсюда и прозвище, присвоенное исполняющему эту обязанность.

Утомленный произнесенными им немногими словами, Габриэль стал мучительно кашлять, тяжело хрипя, точно в груди у него были каверны. Он говорил с пламенным воодушевлением, сильно жестикулируя, как человек, привыкший говорить перед толпой и обуреваемый жадной обращать людей в свою веру.

– Ах, бедный мой брат! – сказал Эстабан с выражением дружеского упрека в голосе – какую пользу принесло тебе чтение газет и книг? Зачем исправлять то, что и так хорошо, или даже то, что дурно, если зло непоправимо! Если бы ты спокойно шел своим путем, ты бы теперь имел место при соборе и – как знать? – может быть, сидел бы в хоре среди каноников, на гордость своей семье и служа ей опорой. Но ты всегда был сумасбродом... хотя по своим способностям ты выше нас всех. Не принес тебе добра твой ум!.. Как я горевал, когда узнал про твои неудачи! Я думал, что тебе отлично живется в Барселоне, где ты зарабатывал корректурной работой целое состояние, сравнительно с тем, что мы здесь получаем за свой труд. Неприятно мне было только, что твое имя часто встречалось в газетах, в отчетах о «митингах», на которых требуют, чтобы все делилось поровну, и проповедуют уничтожение семьи, церкви и всякие нелепости в этом роде. «Товарищ Луна сказал то-то», «товарищ Луна сделал то-то»... Я скрывал от всех здешних, что этот «товарищ Луна» – ты. Я знал, что это безумие к добру не приведет. А погом история с бомбами...

– Я был непричастен к ней, – возразил Габриэль с печалью в голосе. – Я теоретик, и считаю всякое прямое насилие преждевременным и пагубным.

– Не сомневаюсь в этом, Габриэль. Я знал, что ты невиновен. Ты был такой добрый, такой кроткий в детстве. Мы всегда изумлялись твоей доброте. Покойная мать все говорила, что ты будешь святым. Как же бы ты сделался убийцей, как бы ты убивал таким предательским образом... при посредстве этих дьявольских снарядов... Господи Иисусе!

Эстабан замолчал, потрясенный одним воспоминанием о преступлениях, в которых обвиняли его брата.

– Но, все-таки, – продолжал он помолчав, – ты был схвачен во время арестов, произведенных после взрыва. Как я тогда измучился! От времени до времени производились расстрелы в крепостном рву, и я с ужасом читал в газетах имена казненных, все ожидая встретить твое имя среди них. Ходили слухи о том, что заключенных пытали, чтобы вынудить у них признания; и я думал о тебе, о твоем слабом здоровье. Я был уверен, что не сегодня-завтра тебя найдут мертвым в твоей камере. И мне еще к тому же приходилось скрывать все, что я знаю о тебе... Луна, сын сеньора Эстабана, старого соборного садовника, с которым разговаривали запросто каноники и даже архиепископы – сообщник злодеев, которые хотят истребить мир! Какой позор! И поэтому, когда Голубой и другие здешние сплетники спрашивали меня, не ты ли тот Луна, о котором так много говорят в газетах, я отвечал им, что мой брат в Америке и редко мне пишет, потому что очень занят. Ты можешь себе представить мою муку! Ждать, что каждую минуту тебя могут казнить – и даже не иметь возможности отвести душу, говоря о своем горе с близким человеком... Мне оставалась только молитва. Живя в храме и привыкнув ежедневно общаться с Господом и его святыми, начинаешь немного охладевать к религии... Но горе оживляет веру, и я обратился к всемогущей заступнице нашей, Деве Святителища, моля ее вспомнить, как ты ребенком преклонял колени в её часовне, когда собирался вступить в семинарию.

Габриэль снисходительно улыбнулся наивности брата.

– Не смейся, – сказал Эстабан, – ты огорчаешь меня своим смехом. Поверь, только заступничество Пресвятой Девы спасло тебя... Через несколько месяцев я узнал, что тебя и других выслали, строго запретив когда-либо возвращаться в Испанию. С тех пор я не имел ни одного письма, ни одного известия о тебе, ни хорошего, ни дурного. Я думал, что ты умер на чужбине, и много раз молился за твою бедную душу, которая очень нуждается в молитвах.

«Товарищ Луна» ласково посмотрел на брата.

– Благодарю тебя за твою любовь, Эстабан, – сказал он. – Я преклоняюсь перед твоей верой. Но не думай, что я спасся, цел и невредим от опасности. Лучше даже, если бы все кончилось сразу. Лучше обрести ореол мученичества, чем попасть в тюрьму сильным и здоровым человеком и выйти из неё развалиной. Я очень болен, Эстабан, и скоро умру. Мой желудок отказывается служить, легкие разрушены и весь мой организм – испорченная машина, которая едва действует, потому что все её части разваливаются. Уж если Пресвятая Дева, вняв твоим мольбам, хотела спасти меня, ей следовало повлиять на моих сторожей и смягчить их жестокость. Они, бедные, думали, что спасают мир, давая волю зверским инстинктам, спящим в каждом человеке, как наследие минувших времен... Да и потом, на свободе, жизнь моя была хуже смерти. Нужда и преследования заставили меня вернуться в Испанию, и существование мое превратилось в адскую муку. Я не мог поселиться нигде среди людей, – они травили меня, как свора собак, выгоняя меня из своих городов в горы, в пустыни, туда, где нет ни одного человеческого существа. Они считали меня более опасным человеком, чем те отчаянные фанатики, которые бросают бомбы, потому что я говорю, потому что во мне живет несокрушимая сила, которая заставляет меня проповедовать истину, как только я вижу перед собой несчастных... Но теперь все это кончено. Ты можешь успокоиться, милый брат. Я близок к смерти. Моя миссия кончена. Но вслед за мной придут другие – много других. Борозда вспахана, и семя проникло глубоко в землю... Теперь я считаю себя вправе отдохнуть несколько недель перед смертью. Я хочу в первый раз в жизни насладиться тишиной, спокойствием – быть ничем, жить так, чтобы никто не знал, кто я, не внушать никому ни добрых, ни злых чувств. Мне хотелось бы быть статуей на этой двери, колонной в соборе, бездушным предметом, над которым проходит время и проносятся радости и печали, не вызывая ни волнения, ни содрогания. Предвосхитить смерть, стать трупом, дышать и есть, но не думать, не радоваться, не страдать – вот что было бы для меня счастьем, Эстабан. Мне некуда идти. Стоит мне выйти за эту дверь, чтобы меня опять стали гнать и преследовать. Оставишь ты меня здесь?

Эстабан, вместо ответа нежно толкнул вперед брата.

– Идем наверх, сумасброд! – сказал он. – Ты не умрешь. Я поставлю тебя на ноги. Тебе нужно спокойствие и заботливый уход. Собор вылечит тебя. Здесь ты забудешь о своих бреднях, перестанешь быть дон-кихотом. Помнишь, как ты нам читал его приключения по вечерам в детстве? Теперь ты сам стал похож на него. Что тебе за дело, хорошо или скверно устроен свет! Он всегда будет таким, каким мы его знаем. Важно только одно – жить по христиански, чтобы заслужить счастье в будущей жизни; – она будет лучше этой, потому что она – дело рук Господних, а не человеческих. Идем же, идем!

Подталкивая с нежностью брата, Эстабан вышел с ним из монастыря, проходя мимо нищих, которые с любопытством глядели на них, тщетно пытаясь подслушать, о чем они говорят. Они прошли через улицу и стали подниматься по лестнице, ведущей в башню. Ступеньки были кирпичные, поломанные во многих местах; крашенные белые стены покрыты были карикатурными рисунками и неразборчивыми подписями посетителей, которые поднимались на колокольню посмотреть на знаменитый колокол огромных размеров – Campana Gorda.

Габриэль шел медленно, останавливаясь на каждом повороте.

– Я очень плох, Эстабан., – проговорил он, – очень плох. Мои легкие точно треснувшие меха, в которые воздух входит со всех сторон.

Потом, точно раскаиваясь в своей забывчивости, он поспешно обратился к брату с вопросами о семье.

– Как поживает твоя жена, Пеппа? – спросил он. – Надеюсь, она здорова.

Лицо Эстабана омрачилось, и глаза его сделались влажными.

– Она умерла, – кратко ответил он.

Пораженный печальным ответом, Габриэль остановился и прислонился к перилам. После короткого молчания он, однако, снова заговорил, чувствуя желание чем-нибудь утешить брата.

– Ну, а моя племянница Сагарио? Она, верно, сделалась красавицей. В последний раз, когда я ее видел, она походила на молодую королеву со своими светлыми волосами, зачесанными кверху, – со своим розовым личиком, подернутым легким золотистым пушком. Она замужем или живет у тебя?

Эстабан еще мрачнее взглянул на брата.

– Она тоже умерла! – резко ответил он.

– И Сагарио умерла? – повторил пораженный Габриэль.

– Умерла для меня – это то же самое. Умоляю тебя, брат, всем, что тебе дорого на свете, не говори мне о ней!..

Габриэль понял, что растравляет своими вопросами глубокую рану в душе брата, и замолчал. В жизни Эстабана произошло, очевидно, нечто очень тяжелое за время его отсутствия – одна из тех катастроф, которые разбивают семьи и навсегда разлучают оставшихся в живых.

Они прошли по крытой галерее над аркой архиепископского дворца и вошли в верхний монастырь, носящий название канцелярий – Las Claverias: четыре портика одинаковой длины с нижним монастырем, но без малейших украшений и очень жалкого вида. Пол был выстлан старыми поломанными кирпичами. Четыре стороны, выходящие в сад, были соединены узким барьером между плоскими колоннами, поддерживавшими крышу из гнилых балок. Это была временная постройка, сделанная три века тому назад, но оставшаяся с тех пор в том же виде. Вдоль выбеленных стен тянулись расположенные без всякой симметрии двери и окна квартир, занимаемых церковными служащими; служба и жилища переходили по наследству от отца к сыну. Этот монастырь со своими низкими портиками представлял собой как бы четыре улицы, каждая из одного ряда домов. Против комнат возвышалась плоская колоннада, над барьером которой просовывали свои остроконечные верхушки кипарисы сада. Над крышей монастыря виднелись окна второго ряда комнат, ибо почти все квартиры верхнего монастыря были в два этажа.

Таким образом, над собором, в уровень с крышами, жило целое население, и ночью, когда закрывалась лестница, ведущая на башню, все это население было совершенно отрезано от города. Целые поколения рождались, жили и умирали в самом сердце Толедо, не выходя на улицы, – привязанные каким-то инстинктивным наследственным влечением к этой громаде из резного белого камня, своды которой служили им убежищем. Они жили там, пропитанные запахом ладана, вдыхая особый запах плесени и старого железа, свойственный старинным храмам, с горизонтом, ограниченным арками или колокольней, закрывавшей собой большую часть неба, видного из верхнего монастыря.

Габриэлю показалось, что он вернулся к временам своего детства. Ребятишки, похожие на тогдашнего Габриэля, прыгали, играя в четырех портиках, или садились, сбившись в кучку, туда, куда проникали первые лучи солнца. Женщины, которые напоминали ему его мать, вытряхивали над садом одеяла или подметали красные кирпичные плиты перед своими квартирами. Все осталось таким же, как прежде. Время как будто не заглядывало сюда, уверенное, что не найдет ничего, что могло бы состариться. Габриэль увидел на стене полустертые два рисунка углем, которые он сделал, когда ему было восемь лет. Если бы не дети, которые кричали и смеялись, гоняясь друг за дружкой, можно было бы подумать, что в этом странном городе, как бы висящем в воздухе, никто не рождается и не умирает.

Эстабан, лицо которого оставалось пасмурным, стал давать объяснения брату.

– Я живу по-прежнему в нашей старой квартире, – сказал он. – Мне ее оставили из уважения к памяти отца. За это я чрезвычайно признателен церковному совету, – ведь я только простой «деревянный шест». После *несчастья* я взял в дом старуху, которая ведет мое хозяйство. Кроме того, у меня живет дон-Луис, регент. Ты увидишь его; он очень способный молодой священник, – но тут его способности пропадают даром. Его считают сумасшедшим, но он – настоящий артист с чистой ангельской душой.

Они вошли в квартиру, издавна принадлежавшую семейству Луна. Она была одной из лучших во всем верхнем монастыре. У дверей висели на стене корзинки для цветов, в виде кропильниц, и из них свешивались зеленые нити растений. В комнате, которая служила гостиной, все осталось таким же, как при жизни родителей Габриэля. Белые стены, принявшие с годами желтоватый тон кости, покрыты были дешевыми изображениями святых. Стулья красного дерева, отполированные долгим трением, имели молодой вид, не соответствовавший их старинному фасону и почти прорванным сидениям. Через открытую дверь видна была кухня, куда вошел брат Габриэля, чтобы дать распоряжения старой, кроткой с виду служанке. В одном углу комнаты стояла швейная машина. Габриэль вспомнил, что когда он был в последний раз дома, на этой машинке работала его племянница. Теперь машина стоит тут на память о «девочке», после катастрофы, оставившей глубокую печаль в сердце отца. Через окно в гостиной Габриэль увидел внутренний двор, составлявший преимущество этой квартиры перед другими: довольно большой кусок синего неба и четыре ряда тонких колонн, поддерживавших верхний этаж, придавали дворику вид маленького монастырского двора. Эстабан вернулся к брату.

– Что ты хочешь к завтраку? – спросил он. – Требуй чего желаешь, – тебе все приготовят. Я хоть и беден, но все-таки надеюсь, что смогу поставить тебя на ноги и вернуть тебе здоровый виц.

Габриэль грустно улыбнулся.

– Не хлопочи понапрасну, – сказал он. – Мой желудок ничего не переносит. Мне достаточно немного молока; – и то хорошо, если я смогу его выпить.

Эстабан приказал старухе пойти в город за молоком и хотел сесть около брата. Но в эту минуту открылась дверь, выходящая в коридор, и через нее просунулась голова юноши.

– С добрым утром, дядя, – сказал он.

В его плоском лице было что-то собачье; глаза сверкали лукавством, волосы были начесаны на уши и густо напوماжены.

– Войди, озорник! – сказал Эстабан и обратился снова к брату.

– Ты знаешь кто он? – спросил он. – Нет? Это сын нашего покойного брата Томаса, да уготовь Господь ему место в раю! Он живет тут наверху со своей матерью, которая моет церковное белье и умеет удивительно хорошо плоить стихари. Том, поздоровайся с этим господином. Это твой дядя Габриэль, который вернулся из Америки, Парижа и из разных других далеких, очень далеких мест.

Юноша поздоровался с Габриэлем, несколько смущенный грустным, больным видом дяди, о котором его мать говорила при нем, как об очень таинственном человеке.

– Вот этот мальчишка, – продолжал Эстабан, обращаясь к брату и указывая на Тома, – самый большой озорник во всем соборе. Если его еще не выгнали отсюда, то только из уважения к памяти его отца и деда, ради имени, которое он носит; всем известно, что семья Луна – такая же старинная, как камни стен... Какая бы шалость ему ни взбрела на ум, он непременно приводит ее в исполнение. Он ругается как язычник в ризнице, за спиной каноников. Это все правда; не отрекайся, бездельник!

Он погрозил ему пальцем, полу-серьезно, полу-шутливо, точно на самом деле вовсе не осуждал проступков своего племянника. Юноша выслушал выговор, гримасничая как обезьяна и не опуская глаз, глядевших очень дерзко.

– Какой стыд, – продолжал дядя, – что ты напوماдил волосы как светские шалопаи, приезжающие в Толедо в большие праздники! В доброе старое время тебе бы за это обрили голову. Но теперь, когда наступили времена распада, произвола и бедствий, наша святая церковь бедна, как Иов, и каноникам не до пустяков. Все пошло на убыль, на горе нам! Если бы ты видел, как все пало, Габриэль! Собор теперь совсем вроде мадридской лавки, куда люди приходят, покупают, что им надо и бегут прочь. Собор так же прекрасен, как и прежде, но исчезло вели-

чие прежнего служения Господу. То же самое говорит и регент. Он возмущается, что только в большие праздники в хор является человек шесть музыкантов, да и то, едва-едва. Молодежь, живущая в монастыре, перестала любить нашу церковь; жалуются на то, что им мало платят, не принимая во внимание, что церковь переживает тяжелые времена. Если так будет продолжаться, то я не удивлюсь, если такие сорванцы, как вот этот и другие, подобные ему, начнут устраивать игры в церкви... прости Господи!

Простодушный Эстабан, выразив свое возмущение, продолжал, указывая на племянника:

– Вот этот молодчик, как ты его видишь, уже занимает должность, которую его бедный отец получил только в тридцать лет; а он еще не доволен. Он мечтает сделаться тореадором – и осмелился даже раз отправиться в воскресенье на новильяду (бой молодых бычков) в толедском цирке. Его мать прибежала ко мне вне себя, чтобы рассказать, что сделал её сынок, и я, помня, что покойный брат поручил мне перед смертью заботиться об его сыне, подстерег молодчика, когда он возвращался из цирка, и погнал его домой тем же шестом, которым я водворяю молчание в соборе. Пусть он тебе сам скажет, тяжела ли у меня рука, когда я сердит. Дева Святилища! Чтобы Луна из святого собора сделался тореадором! Когда об этом узнали каноники и кардинал, они были очень огорчены, как мне, потом, передавали. А мальчишку с тех пор прозвали «Тато»³. Да, не делает он чести нашей семье.

Эстабан посмотрел на племянника уничтожающим взглядом, но тот только улыбался, слушая его обличения.

– Не думай, Габриэль, – продолжал Эстабан, – что ему нечего есть, и что поэтому он пускается на всякие сумасбродства. Несмотря на то, что он такой озорник, он в двадцать лет получил должность «переро» – служителя, выгоняющего собак из собора. В прежнее время эту должность получали только после долгих лет усердной службы. Ему платят шесть реалов в день, и так как дела у него при этом никакого нет, то он может еще, кроме того, показывать церковь туристам. Вместе с тем, что он получает на чай, он зарабатывает больше, чем я. Иностранцы-еретики, которые смотрят на нас, как на диких обезьян, и смеются над всем, что видят здесь, обращают на него внимание. Англичанки спрашивают его, не тореадор ли он? Большого ему и не нужно. Как только он видит, что им интересуются, он начинает врать без конца – выдумщик он каких мало – и рассказывает о «корридах» в Толедо, в которых он принимал участие, о быках, которых убил... А негодяи-англичане записывают все, что он говорит, в свои путевые альбомы; одна блондинка с большими ногами зарисовала даже профиль этого бездельника. Ему все равно – лишь бы слушали его вранье и дали потом песету. Что ему до того, если эти нечестивцы будут рассказывать, вернувшись домой, что в толедском соборе, в первой церкви Испании, служащие – тореадоры и участвуют в богослужении в промежутках между «корридами»!.. Словом, он зарабатывает больше, чем я, и все-таки еще жалуется на свою должность. А должность его прекрасная! Шествовать во время больших процессий впереди всех, рядом с крестом, и нести вилы, обернутые в алый бархат, чтобы поддержать крест, если бы он упал... Носить парчовую красную одежду, как кардинал! В этом костюме, как говорит регент, который очень много знает, становишься похожим на некоего Данте, который много веков тому назад жил в Италии и спустился в ад, а потом описал свое путешествие в стихах.

Раздались шаги на узкой витой лестнице, которая прорезана была в стене для сообщения с верхним этажом.

– Это дон-Луис, – сказал Эстабан. – Он идет служить мессу в часовню Святилища, а потом отправится в хор.

Габриэль поднялся, чтобы поздороваться с священником. Это был маленького роста, слабый с виду человек. С первого взгляда бросалось в глаза несоответствие между хрупким телом и огромной головой. Большой выпуклый лоб как бы сокрушал своей тяжестью смуглые непра-

³ Т. е. «шепелявый»: намек на андалузцев. Андалузий – родина большинства тореадоров.

вильные черты его лица, носившего следы оспы. Он был уродлив, но все же ясность его голубых глаз, блеск здоровых белых и ровных зубов, озарявших рот, невинная, почти детская улыбка придавала привлекательность его лицу; в нем чувствовалась простая душа, всецело поглощенная любовью к музыке.

– Так этот господин и есть тот брат, о котором вы мне столько рассказывали? – спросил он, когда Эстабан познакомил их.

Он дружески протянул руку Габриэлю. У них обоих был болезненный вид, и общая слабость сразу сблизила их.

– Вы учились в семинарии, и может быть, сведущи в музыке? – спросил дон-Луис Габриэля.

– Это единственное, что я не забыл из всего, чему меня там учили.

– А путешествуя по разным странам, вы вероятно, слышали много хорошей музыки?

– Да, кое-что слышал. Музыка – самое близкое мне искусство. Я мало понимаю ее, но люблю.

– Это чудесно. Мы будем друзьями. Вы мне расскажете о своих приключениях... Как я вам завидую, что вы много путешествовали!

Он говорил как беспокойный ребенок, не садясь, хотя Эстабан несколько раз придвигал ему стул. Он ходил из угла в угол, прижимая приподнятый край плаща к груди, и с шляпой в руках – жалкой, потертой шляпой, продавленной в нескольких местах, с лоснящимися краями, такой же поношенной как его ряса и его обувь. Но все-таки, несмотря на свою нищенскую одежду, дон-Луис сохранял прирожденно изящный вид. Его волосы, более длинные, чем обыкновенно у католических священников, вились локонами до самой макушки. Искусство, с которым он драпировал плащ вокруг тела, напоминало оперных певцов. В нем чувствовался художник под одеждой священника.

Раздались, как далекие раскаты грома, медлительные звуки колокола.

– Дядя, нас зовут в хор, – сказал Том. – Пора, уж скоро восемь часов.

– Правда, правда. Вот смешно, что ты напомнил мне о долге службы. Ну, идем!

Потом он прибавил, обращаясь к священнику-музыканту:

– Дон-Луис, ваша обедня начинается в восемь. Вы потом поговорите с Габриэлем. Теперь нужно идти в церковь. Долг прежде всего.

Регент грустно кивнул головой в знак согласия и направился к выходу, вместе с двумя служителями церкви, но с недовольным видом, точно его повели на неприятную и тяжелую работу. Он рассеянно что-то напевал, когда протянул на прощанье руку Габриэлю, и тот узнал мелодию из седьмой симфонии Бетховена.

Оставшись один, Габриэль лег на диван, устав от долгого ожидания перед собором. Старая служанка поставила подле него кувшин с молоком, налив из него предварительно полный стакан. Габриэль выпил и после того впал в давно неизведанное блаженное забытие. Он смог заснуть и пролежал около часа на диване без движения. Его неровное дыхание нарушалось несколько раз припадками глухого кашля, который, однако, не будил его.

Наконец он проснулся и быстро вскочил, охваченный нервной дрожью с головы до ног. Эта привычка к тревожному пробуждению осталась у него от пребывания в мрачных тюремных камерах, где он ежечасно мог ждать, что откроется дверь и его или будут колотить палкой, как собаку, или поведут на плац для расстрела. Еще более укоренилась в нем эта привычка в изгнании, когда он жил в вечном страхе полиции и шпионов; часто случалось, что его настигали ночью, в какой-нибудь гостинице, где он остановился на ночь, и заставляли тотчас же снова отправляться в путь. Он привык к тревоге, как Агасфер, который не мог нигде остановиться для отдыха, потому что сейчас же раздавался властный приказ: «Иди!»

Габриэль не хотел снова лечь; он точно боялся черных сновидений, и предпочитал живую действительность. Ему приятна была тишина собора, охватывающая его нежной лаской; ему

нравилось спокойное величие храма, этой громады из резного камня, которая как бы укрывала его от преследований.

Он вышел из квартиры брата и, прислонясь к перилам, стал глядеть вниз в сад. Верхний монастырь был совершенно безлюден в этот час. Дети, которые наполняли его шумом рано утром, ушли в школу, а женщины заняты были приготовлением завтрака. Свет солнца озарял одну сторону монастыря, и тень колонн прорезала наискось большие, золотые квадраты на плитах. Величественный покой, тихая святость собора проникали в душу мятежника, как успокаивающее наркотическое средство. Семь веков, связанных с этими камнями, окутывали его, точно покрывала, отделяющие его от остального мира. Издали доносились быстрые удары молотка – это работал, согнувшись над своим маленьким столиком, сапожник, которого Габриэль заметил, выглянув из окна. На небольшом пространстве неба, заключенном между крышами, носились несколько голубей, вздымая и опуская крылья, как весла на лазурном озере. Утомившись, они опускались к монастырю, садились на барьер и начинали ворковать, нарушая благочестивый покой любовными вздохами. От времени до времени открывались двери из собора, наполняя сад и верхний монастырь запахом ладана, звуками органа и глубоких голов, которые пели латинские фразы, растягивая слова для большей торжественности.

Габриэль рассматривал сад, ограждённый белыми аркадами и тяжелыми колоннами из темного гранита, на которых дожди породили целую плантацию бархатистых черных грибов. Солнце озаряло только один угол сада, а все остальное пространство погружено было в зеленую мглу, в монастырский полумрак. Колокольня закрывала собой значительную часть неба; вдоль её красноватых боков, украшенных готическими узорами и выступающими контрфорсами, тянулись полосы черного мрамора с головами таинственных фигур и с гербами разных архиепископов, участвовавших в сооружении её. На самом верху, близ белых как снег каменных верхушек, виднелись за огромными решетками колокола, похожие на бронзовых птиц в железных клетках...

Раздались три торжественных удара колокола, возвещавших поднятие Св. Даров, самый торжественный момент мессы. Вздрыгнула каменная громада, и дрожь отдалась во всей церкви, внизу, на хорах и в глубине сводов.

Потом наступила снова тишина, казавшаяся еще более внушительной после оглушительного звона бронзовых колоколов. И снова раздалось воркование голубей, а внизу, в саду, зачирикали птицы, возбужденные солнечными лучами, которые оживляли зеленый полумрак.

Габриэль был растроган всем, что видел и слышал. Он отдался сладостному опьянению тишины и покоя, блаженству забытья. Где-то, за этими стенами, был мир, – но его не было ни видно, ни слышно: он отступал с почтением и равнодушием от этого памятника минувших веков, от великолепной гробницы, в которой ничто не возбуждало его любопытства. Кто мог бы предположить, что Габриэль скрывается именно здесь!? Это здание, простоявшее семь веков, воздвигнутое давно умершими властителями и умирающей верой, будет его последним пристанищем. Среди полного безбожия, охватившего мир, церковь делается для него убежищем – как для средневековых преступников, которые, переступив порог храма, смеялись над правосудием, остановленным у входа, как нищие. Тут, среди безмолвия и покоя, он будет ждать медленного разрушения своего тела. Тут он умрет с приятным сознанием, что уже умер для мира задолго до того. Наконец осуществится его желание закончить свои дни в углу погруженного в сон испанского собора; это была единственная надежда, поддерживавшая его, когда он бродил пешком по большим дорогам Европы, прячась от полиции и жандармов, и проводил ночи во рву, скорчившись, опустив голову на колени и боясь замерзнуть во сне.

Ухватиться за собор, как потерпевший кораблекрушение хватается за обломки корабля, – вот что было его последним желанием, и оно наконец осуществилось. Церковь приютила его как старая суровая мать, которая не улыбается, но все-таки раскрывает объятия.

– Наконец-то!.. наконец! – прошептал Луна.

И он улыбнулся, вспомнив о своих скитаниях, как о чем-то далеком, происходившем на другой планете, куда ему больше никогда не нужно будет возвращаться. Собор приютил его навсегда в своих стенах.

Среди полной тишины монастыря, куда не доходил шум улицы, – «товарищ» Луна вдруг услышал далекие, очень далекие звуки труб. Он вспомнил про толедский Альказар, который превосходит по высоте собор, подавляя его громадой своих башен. Трубные звуки доносились из военной академии.

Эти звуки неприятно поразили Габриэля. Он отвернул взоры от мира – и как раз тогда, когда он думал, что ушел далеко-далеко от него, он почувствовал его присутствие тут же, около храма.

II

Эстабан Луна, отец Габриэля, был садовником толедского собора со времен второго кардинала из Бурбонского дома, занимая эту должность по праву, которое казалось неотъемлемым у его семьи. Кто был первый Луна, поступивший на службу в собор? Предлагая самому себе этот вопрос, садовник улыбался и глаза его устремлялись вдаль, точно он хотел проникнуть вглубь веков. Семья Луна была такая же древняя, как фундамент церкви. Много поколений, носивших это имя, родилось в комнатах верхнего монастыря; а прежде чем он был построен знаменитым Циснеросом, они жили в прилегающих домах. Казалось, что они не могли существовать иначе, чем под сенью собора. Собор принадлежал им по праву – более, чем кому-либо. Менялись каноники и архиепископы; они получали места при соборе, умирали, и место их занимали другие. Со всех концов Испании приезжали духовные лица, занимали кресла в хоре и через несколько лет умирали, оставляя свое место другим, приходящим им на смену. А члены семьи Луна оставались на своем месте, точно этот старинный род был одной из колонн храма. Могло случиться, чтобы архиепископ назывался доном Бернардо, а через год доном Гаспаром и, затем, доном Фернандо.

Но нельзя было себе представить, чтобы в соборе не было какого-нибудь Луна в должности садовника или церковного служителя – до того собор привык в течение долгих веков к этой семье.

Садовник говорил с гордостью о своих предках, о своем благородном и несчастном родственнике, конэтабле доне Альваро, погребенном в своей часовне как король, за главным алтарем, о папе Бенедикте XIII, высокомерном и упрямом, как все члены семьи, о доне Педро де-Луна, пятом этого имени архиепископе толедском, и о других своих не менее знаменитых родных.

– Мы все принадлежим к одному роду, – говорил он с гордостью. – Все участвовали в завоевании Толедо славным королем Альфонсом VI. Только одни из нас любили воевать против мавров и сделались знатными сеньорами, владельцами замков, а другие, мои предки, оставались на службе собора, как ревностные христиане.

С самодовольством герцога, рассказывающего о своих предках, старик Эстабан перечислял всех представителей рода Луна, восходившего до XV века. Его отец знал дону Франциска III Лоренцана, этого тщеславного и расточительного князя церкви, который тратил огромные доходы архиепископства на постройку дворцов и издания книг, как какой-нибудь вельможа времен Возрождения. Он знал также первого кардинала Бурбонского дома, дону Луиса II, и рассказывал о романтической жизни этого инфанта. Дон-Луис был брат короля Карла III и вследствие обычая, по которому младшие сыновья знатных родов непременно должны были служить церкви, сделался кардиналом в девять лет. Но дон-Луис, изображенный на портрете, висевшем в зале капитула, в белом парике, с накрашенными губами и голубыми глазами, предпочитал светские наслаждения церковным почестям и оставил свой сан, чтобы жениться на женщине незнатного происхождения; и из-за этого он поссорился навсегда с королем, который изгнал его из Испании.

И старик Луна, перескакивая от одного предка к другому, вспоминал еще эрцгерцога Альберто, который отказался от толедской митры, чтобы управлять Нидерландами, и о кардинале Тавера, покровителе искусств. Все это были великодушные владыки, которые относились со вниманием к семье Луна, зная её вековую преданность святой церкви.

Молодость самого сеньора Эстабана протекла печально. То было время войны за независимость. Французы заняли Толедо и вошли в собор как язычники, волоча за собой сабли и шара по всем углам среди мессы. Все драгоценности были спрятаны, каноники и пребендарии, которых называли тогда – *gaciloneros*, рассеялись по всему полуострову. Одни искали

убежища в крепостях, еще оставшихся во власти испанцев; другие прятались по деревням, вознося молитвы о скором возвращении «Желанного», т.-е. Фердинанда VII. Тяжело было глядеть на хор, в котором раздавались лишь немногие голоса трусливых или эгоистических каноников, привыкших к своим креслам, неспособных жить вдали от них и потому признавших власть узурпатора. Второй бурбонский кардинал, мягкий и ничтожный дон-Луис Мария уехал в Кадикс, где был назначен регентом. Он один из всей своей семьи остался в Испании, и кортесы нуждались в нем, чтобы придать некоторую династическую окраску своей революционной власти.

По окончании войны, бедный кардинал вернулся в Толедо, и сеньор Эстабан умилился, глядя на его грустное детское лицо. Он вернулся, упавший духом, после свидания в Мадриде со своим племянником Фердинандом VII. Другие члены регентства были в тюрьме или в изгнании, и он избежал этой участи только благодаря своей митре и своему имени. Несчастный прелат думал, что поступил хорошо, соблюдая интересы своей семьи во время войны; и вдруг его же стали обвинять в либерализме, в том, что он враг церкви и престола; он никак не мог понять, в чем заключалось его преступление. Бедный кардинал тосковал в своем дворце, употребляя свои доходы на украшение собора, и умер в начале реакции 1823 года. Место его досталось Ингванцо, трибуну абсолютизма, прелату с седеющими бакенбардами, который, будучи избран в кортесы в Кадиксе, сделал карьеру тем, что нападал на всякие реформы и проповедовал возврат к австрийской политике, говоря, что это – верное средство спасти страну.

Добродушный садовник относился с одинаковым восхищением и к бурбонскому кардиналу, которого ненавидели короли, и к прелату с бакенбардами, который наводил страх на все епископство своей суровостью и своей грубостью бешеного реакционера. Всякий, кто занимал толедский епископский престол, был в глазах садовника Эстабана идеальным человеком, действия которого не подлежат критике. Он не желал слушать каноников, которые, покуривая папиросы у него в саду, говорили о причудах сеньора де Ингванцо, враждебно настроенного против правления Фердинанда VII, потому что оно не было достаточно «чистым», и потому что из страха перед иностранцами оно не решалось восстановить спасительную инквизицию.

Одно только огорчало садовника: дорогой его сердцу собор приходил в сильный упадок. Доходы архиепископства и собора сильно сократились во время войны. Случилось то, что бывает при наводнениях: вода, отступая, уносит с собой деревья и дома, и земля остается опустошенной. Собор утратил много принадлежавших ему прав. Арендаторы церковных земель, пользуясь государственными невзгодами, превратились в собственников; деревни отказывались платить феодальные подати, точно привычка защищаться и вести войну освободила их навсегда от вассальных повинностей. Кроме того, сильно повредили собору кортесы, уничтожившие феодальные права церкви; этим отняты были у собора огромные доходы, приобретенные в те времена, когда толедские архиепископы надевали воинское облачение и шли сражаться с маврами.

Все-таки собор владел еще огромным состоянием и поддерживал свой прежний блеск так, как будто ничего не произошло. Но сеньор Эстабан предчувствовал опасность, не выходя из своего сада, а только слыша от каноников о заговорах либералов и о том, что королю дону Фернандо пришлось прибегать к расстрелам, виселице и ссылкам, чтобы побороть дерзость «черных», т. е. либералов, врагов монархии и церкви.

– Они отведали сладкого, – говорил он, – и постараются вернуться, чтобы опять полакомиться! Наверное вернуться, если их не отвадить. Во время войны они отхватили почти половину состояния у собора; а теперь отнимут все, если их подпустить.

Садовник возмущался при одной мысли о подобном дерзновении. Неужели же для этого столько толедских архиепископов сражались против мавров, завоевывали города, брали крепости и захватывали земли, которые переходили во владение собора, возвеличивая блеск Господа и верных слуг Его? Неужели для того, чтобы все это досталось нечестивцам, столько вер-

ных сынов церкви, столько королей, вельмож и простых людей завещали большую часть своих состояний святому собору для спасения своей души? Что же станет с шестьюстами честных людей, взрослых и детей, духовных и светских, сановников и простых служащих, которые жили доходами церкви?.. И это они называют свободой! Отнимать у других то, что им принадлежит, обрекая на нищету множество семей, живших на счет собора!..

Когда печальные предчувствия садовника стали оправдываться и Мендизабал постановил уничтожить церковные права, сеньор Эстабан чуть не умер от бешенства. Кардинал Ингванцо поступил лучше, чем он. Запертый в своем дворце либералами, как его предшественник абсолютистами, он действительно умер, что бы не быть свидетелем расхищения священного церковного имущества. Сеньор Луна был простой садовник, и не дерзал последовать примеру кардинала. Он продолжал жить, но каждый день испытывал новое огорчение, узнавая, что некоторые из умеренных, которые, однако, никогда не пропускали главную мессу, приобретали за ничтожные деньги то дом, то фруктовый сад, то пастбища; все это принадлежало прежде собору и занесено было затем в списки национальных имуществ. – «Разбойники!» – кричал он. Эта медленная распродажа, уносившая по кускам все богатство собора, возмущала Эстабана не менее того, чем если бы алыгвазилье пришли в его квартиру в верхнем монастыре и стали бы забирать мебель, из которой каждый предмет был памятью о ком-нибудь из предков.

Были минуты, когда он подумывал о том, чтобы покинуть свой сад, и отправиться в Маестрасго или на север, чтобы примкнуть к тем, которые защищали права Карла V и желали возврата к прежнему порядку вещей. Эстабану было тогда сорок лет и он чувствовал себя бодрым и сильным; хотя он был миролюбив по натуре и никогда не брал в руки ружья, все же его воодушевлял пример нескольких семинаристов, кротких и благочестивых молодых людей, которые бежали из семинарии и, по слухам, воевали в Каталонии в отряде дона Рамона Кабрера. Но, чтобы не жить одному в своей большой квартире в верхнем монастыре, садовник женился за три года до того, и у него был маленький сын. Кроме того, он бы не мог расстаться с церковью. Он сделался как бы одним из камней этой громады, и был уверен, что погибнет, как только выйдет из своего сада. Собор потерял бы нечто неотъемлемое, если бы из него ушел один из Лун после стольких веков верной службы. И Эстабан не мог бы жить вдали от собора. Как бы он ушел в горы стрелять, когда в течение целых годов не ступал на «мирскую» землю, если не считать узкого пространства улицы между лестницей монастыря и дверью del Mollete?

Он продолжал работать в саду, скорбно утешаясь тем, что защищен от ужасов революции в этой каменной громаде, внушающей почтение своей величественной древностью. Могут отнять у храма его богатства, но ничто не может сокрушить христианской веры тех, которые живут за стенами собора.

Сад, равнодушный и глухой к бурям революции, которые проносились над собором, продолжал разрастаться во всей своей темной красоте. Лавры тянулись вверх, достигая до барьеров верхнего монастыря. Кипарисы шевелили верхушками, точно стремясь взобраться на крыши. Вьющиеся растения покрывали решетки, образуя густые завесы из зелени, и плющ обвивал беседку, стоявшую посредине, с черной аспидной крышей, над которой высился заржавленный железный крест. В этой беседке священники, после окончания дневной службы, читали при зеленом свете, проникавшем сквозь листья, карлистские газеты, или восторгались подвигами Кабреры, в то время как сверху равнодушные к человеческим делам ласточки носились капризными кругами, стремясь долететь до самого неба.

Кончилась война и последние надежды садовника окончательно рассеялись. Он впал в мрачное молчание, и перестал интересоваться всем, что происходило вне собора. Господь покинул праведных: злые и предатели – в большинстве. Его утешала только прочность храма, который простоял уже столько веков и может простоять еще столько же, на зло врагам.

Луна желал только одного: работать в саду и умереть в монастыре, как его предки, оставив новое поколение своего рода, которое будет продолжать служить храму, как все прежние. Его

старшему сыну Тому было двенадцать лет, и он помогал ему работать в саду. Второй сын, Эстабан, был на несколько лет моложе и стал проявлять благочестие необыкновенно рано; едва научившись ходить, он уже становился на колени перед каждым образом в доме и с плачем требовал, чтобы мать водила его в церковь смотреть на святых.

В храме водворилась бедность; стали сокращать число каноников и служащих. Со смертью кого-нибудь из служителей должность его уничтожалась; рассчитали плотников, каменщиков, стекольщиков, которые раньше жили при соборе на жалованье и постоянно заняты были каким-нибудь ремонтом. Если от времени до времени нужно было произвести работы в соборе, для этого нанимали рабочих со стороны. В верхнем монастыре много квартир стояло пустыми, и могильное молчание воцарилось там, где прежде теснилось столько людей. «Мадридское правительство» (нужно было слышать, с каким презрением садовник произносил эти слова) вело переговоры с «святым отцом», чтобы заключить договор, который называли «конкордатом». Сократили число каноников – точно дело шло о простой коллегиальной церкви – и правительство платило им столько, сколько платят мелким чиновникам; на содержание величайшего испанского собора, который во времена десятины не знал, куда девать свои богатства, назначено было тысяча двести песет в месяц.

– Тысяча двести песет, Том! – говорил он своему сыну, молчаливому мальчику, которого ничто не интересовало, кроме сада. – Тысяча двести песет! А я помню еще время, когда собор имел шесть миллионов ренты! Как же теперь быть? Плохия времена ждут нас, и если бы я не был членом семьи Луна, я бы научил вас каким-нибудь ремеслам, и искал бы для вас работы вне собора. Но наша семья не уйдет отсюда, как другие, предавшие дело Господне. Здесь мы родились, здесь должны и умереть все до последнего в нашем роде.

Взбешенный против каноников собора, которые рады были, что вышли целы и невредимы из революционной передряги и потому приняли без протеста конкордат и согласились на маленькое жалованье, Эстабан стал запирается в своем саду, отказываясь устраивать у себя собрания, как прежде. В саду ему было отрадно. Маленький растительный мир по крайней мере совсем не менялся. Его темная зелень походила на сумрак, окутывавший душу садовника. Он не сверкал красками, веселя душу, как сады, стоящие под открытым небом и залитые солнцем. Но он привлекал своей грустной прелестью монастырского сада, замкнутого в четырех стенах, освещенного бледным светом, скользким вдоль крыш и аркад, не видящего иных птиц, кроме тех, которые носятся высоко в воздухе и вдруг с удивлением замечают райский сад в глубине колодца. Растительность была в нем такая, как в греческих пейзажах: стройные лавры, остроконечные кипарисы и розы, как в идиллиях греческих поэтов. Но стрельчатые своды, замыкающие сад, аллеи, выложенные плитами, в расщелинах которых росла трава, крест над беседкой посередине, обросшей плющом и крытой черным аспидом, запах ржавого железа решеток, сырость каменных контрфорсов, позеленевших от дождей, – все это придавало саду отпечаток христианской древности. Деревья качались на ветру, как кадила; цветы, бледные и прекрасные бескровной красотой, пахли как бы ладаном, точно струи воздуха, попадавшие из собора в сад, меняли их естественный запах. Дождевая вода, стекающая из труб, спала в двух глубоких цистернах. Ведро садовника, разбивая на мгновение её зеленую поверхность, обнаруживало темно-синий цвет её глубины; но как только расходились круги, зеленые полосы снова сближались, и вода снова исчезала под своим зеленым саваном и стояла мертвая, неподвижная, как храм, среди вечерней тишины.

В праздник Тела Господня и праздник Девы Святилища, приходившийся на шестнадцатое августа, много народа являлось с кружками в соборный сад, и сеньор Эстабан позволял набирать воду из цистерн. То был старинный обычай, очень чтимый толедскими жителями, которые восторгались свежестью воды в соборном саду; в остальное время им приходилось пить землистую воду Того. Посещения публики приносили в некоторых случаях небольшой доход сеньору Эстабану. У него покупали букс для образов или горшки с цветами, предпо-

читая цветы из собора всяким другим. Старухи покупали у него лавровые листья для соусов или для лекарственных целей. Эти маленькие доходы, вместе с двумя песетами, которые ему платил собор после рокового уничтожения церковных привилегий, помогали ему содержать свою семью. Под старость у него родился третий сын, Габриэль, который уже в четыре года приводил в изумление всех женщин верхнего монастыря. Его мать уверяла с слепой верой, что он – вылитый портрет Младенца Иисуса, которого держит на руках Дева Святилища. Сестра Эстабана, Томаса, жена «Голубого» и мать многочисленного семейства, занимавшего половину верхнего монастыря, восхваляла всюду необыкновенный ум своего маленького племянника, когда он едва только научился говорить, и поражалась наивным благоговением, с которым он смотрел на образа.

– Настоящий маленький святой! – говорила Она своим приятельницам. – Нужно видеть, с каким строгим видом он читает молитвы. Габриэль далеко пойдет. Мы доживем еще до того, что он будет епископом. Когда мой отец был ключарем, я знала многих маленьких певчих, которые теперь носят митру и могут стать толедскими епископами.

Хор похвал и восторгов окружал точно облаком курений детство Габриэля. Вся семья только им и жила. Сеньор Эстабан, отец на римский образец, любил своих детей, но был с ними суров в воспитательных целях. Только с маленьким Габриэлем он становился иным, чувствуя в его присутствии как бы возврат своей молодости; он играл с ним и подчинялся с улыбкой всем его прихотям. Мать бросала домашнюю работу, чтобы занимать маленького сына, и братья восхищались его детским лепетом. Старший брат, Томас, молчаливый мальчик, который заменил отца в садовых работах и ходил босиком зимой по грядкам, покрытым инеем, часто возвращался домой с пучками благоуханных трав для Габриэля. Эстабан, второй брат, которому было тринадцать лет, пользовался некоторым престижем среди других певчих за аккуратность, с которой он помогал священнику при служении мессы. Приводя в восторг Габриэля своей красной рясой и плоенным стихарем, он приносил ему огарки восковых свечей и раскрашенные картинки, которые он вытаскивал из требника у кого-нибудь из каноников.

Несколько раз маленького Габриэля приносили на руках туда, где стояли «гиганты», в большую залу, устроенную между контрфорсами нэфов. Там собрания были все герои старинных празднеств: могучий Сид с его огромным мечом, и четыре пары, изображавшие четыре части света – огромные манекены в одеждах, изъеденных молью и с продавленными головами. Когда-то они наполняли весельем толедские улицы во время народных празднеств, а теперь гнили на чердаках собора. В одном углу стояла Тараска – страшное картонное чудовище, которое пугало ребенка, раскрывая огромную пасть, в то время, как на его спине сидела и вертелась растрепанная, распутного вида кукла, которую ревностные католики минувших веков прозвали Анной Болейн.

Когда Габриэль стал посещать школу, все восхищались его быстрыми успехами. Детвора верхнего монастыря, раздражавшая «Серебряный шест» – священника, который должен был следить за благонравием населения под крышей собора, – смотрела на маленького Габриэля, как на чудо. Он научился читать почти раньше, чем стал ходить. В семь лет он начал изучать латынь, и быстро ее одолел, точно это был его родной язык. В десять лет он вел споры с священниками, приходившими в сад, и они любили возражать ему, вызывая его на интересные ответы.

Старик Эстабан, который уже сильно ослабел и сгорбился, улыбался, очень довольный своим последним сыном.

– Он будет гордостью семьи, – говорил старик. – Он Луна и может поэтому безбоязненно стремиться ко всему; у нас в семье были даже папы.

Каноники уводили мальчика в ризницу до начала службы и расспрашивали об его учении. Один священник, служивший в канцелярии архиепископа, представил его кардиналу,

который, поговорив с ним, дал ему горсть миндалей и обещал ему стипендию для того, чтобы он мог учиться безвозмездно в семинарии.

Семья Луна и все их родственники, близкие и далекие, составлявшие почти все население верхнего монастыря, обрадовались этому обещанию. Чем бы и мог стать Габриэль, как не священником? Для этих людей, связанных с собором с самого рождения, и считавших, что толедские архиепископы самые могущественные люди на свете, единственным местом, достойным талантливого человека, была церковь.

Габриэль поступил в семинарию, и его семье казалось, что с его отъездом верхний монастырь совершенно опустел. Кончились вечерние собрания, на которых звонарь, церковный сторож, ключари и другие служители церкви слушали Габриэля, который ясным отчетливым голосом читал им или жития святых, или католические газеты, прибывшие из Мадрида, или иногда «Дон-Кихота» из книги в пергаментном переплете, напечатанной старинным шрифтом. Эта старинная книга была фамильной драгоценностью в семье Луна и переходила от отца к сыну.

В семинарии Габриэль вел однообразную жизнь, подобающую трудолюбивому студенту; он побеждал своих оппонентов на богословских диспутах, получал награды и его ставили в пример товарищам. От времени до времени кое-кто из каноников, преподававших в семинарии, заходили в соборный сад.

– Ваш сын отлично учится, Эстабан, – говорили они. – Он первый во всем, и к тому же скромнен и набожен, как святой. Он будет утешением вашей старости.

Садовник, который все более и более старился и слабел, качал головой. Успехи своего сына он надеялся увидеть только с высоты небес, если бы Господь вознес его к себе. Он знал, что умрет раньше, чем его сын выйдет в люди. Но это не огорчало его, – останется семья, которая будет наслаждаться торжеством Габриэля и возблагодарит Господа за его милости.

Гуманитарные науки, богословие, каноны, – все это Габриэль одолевал с необычайной легкостью, которая удивляла его учителей. В семинарии его сравнивали с отцами церкви, наиболее прославившимися ранним проявлением своих дарований. Когда он кончал семинарский курс, все были уверены, что архиепископ даст ему кафедру в семинарии еще прежде, чем он начнет служить мессы. У него была неутолимая жажда знания. Библиотека семинарии стала как бы его собственностью. По вечерам он часто ходил в собор, чтобы дополнить свои знания церковной музыки, беседуя с регентом и органистом. В классе церковного красноречия он поражал профессоров и слушателей пламенностью и убежденностью своих проповедей.

– Его призвание – проповедовать, – говорили в саду. – В нем воскрес пламенный дух апостолов. Он, быть может, новый святой Бернард или Боссюэт! Как знать, что выйдет из этого юноши!

Больше всего Габриэль увлекался историей собора и архиепископов, правивших им. В нем проснулась наследственная любовь всех Луна к этой громаде, которая была их вечной матерью. Но он не обожал ее слепо, как вся его семья. Ему хотелось знать, как все происходило в действительности, хотелось проверить по книгам смутные рассказы отца, походившие скорее на легенды, чем на историческую правду.

Прежде всего его внимание было привлечено хронологией толедских архиепископов, этой цепью знаменитых людей, святых, воинов писателей, князей, за именами которых стояло число, как за именами королей каждой династии. Было время, когда они были настоящими монархами Испании. Готские короли со своим двором играли чисто декоративную роль; их возводили на престол и смещали, смотря по надобности. Испания была теократической республикой, и действительным главой её был толедский архиепископ.

Габриэль разделял на группы этот нескончаемый список знаменитых прелатов.

Прежде всего святые, апостолы героической поры христианства, епископы, которые были так же бедны, как их прихожане ходили босиком, спасались от римских преследований и преклонялись, наконец, свою голову перед палачом, с радостной надеждой, что они возвеличат свое

учение, жертвуя своею жизнью. Таковы были святой Евгений, Меланцио, Пелагио, Патруно и другие, терявшиеся в тумане старинных преданий.

Затем шли архиепископы времени готов, прелаты-монархи, которые властвовали над завоевателями, благодаря своему духовному превосходству над победоносными варварами. Им помогала власть чудес, которыми они устрашали суровых воинов. Архиепископ Монтано, который жил под одним кровом с своей женой, возмущенный поднявшимся против него ропотом, положил горящие угли под свое священническое платье в то время как служил мессу, и не обжегся, доказав этим чудом чистоту своей жизни. Сан-Идлефонсо, не довольствуясь писанием книг против еретиков, добился того, что ему явилась святая Леокадия и оставила в его руках кусок своего плаща. На его долю выпала потом еще большая честь: сама Пресвятая Дева спустилась к нему с неба, чтобы надеть ему на плечи ризу, шитую её собственными божественными руками. Много лет спустя, Сигберт имел дерзость надеть эту ризу, за что лишен был сана и отлучен от церкви. Единственные книги, которые появлялись в то время, были написаны толедскими прелатами. Они сочиняли законы, они возвели в короли Вамлу, они устроили заговор против жизни Эгики, и совещания, которые происходили в базилике святой Леокадии, были политическими собраниями, на которых трон занимала митра, а королевская корона была у ног архиепископа.

Мусульманское вторжение снова обрекло толедских архиепископов на смиренную жизнь. То, что было во времена римского владычества, конечно, не повторилось более и прелатам не приходилось бояться за свою жизнь: мусульмане не умножали число мучеников и не насиловали верований побежденных. Все толедские церкви остались во власти мозарабских христиан за исключением собора, превращенного в главную мечеть. Но католики были бедны и постоянные войны между сарацинами и христианами, а также притеснения, которыми мавры отвечали на варварство, сопровождавшее обратное завоевание христианами мавританских земель, затрудняли служение церкви. К этому времени относятся неведомые имена Циксила, Элипандо и Вистремиро, того Вистремиро, которого святой Евлогий называл «факелом святого духа и светочем Испании», но о котором история даже не упоминает. Если самого святого Евлогия предали мученической казни в Кордове, то этим он обязан неистовству своего религиозного пыла. Что касается Бенито, француза по происхождению, его приемника на архиепископском престоле, то он не желал уступать своим предшественникам в святости и поэтому прежде чем прибыть в Толедо, постарался, чтобы в одной из церквей у него на родине сама Пресвятая Дева принесла ему новое облачение.

Вскоре после того в XI веке на сцену выступили воинствующие архиепископы, прелаты в кольчугах, вооруженные топорами о двух лезвиях, «конквистадоры», которые, предоставляя служение месс смиренным каноникам, сами садились на боевых коней и считали, что недостаточно служили Господу, если в течение года им не удавалось прибавить к церковному достоянию несколько деревень и несколько гор. Первыми из них были французы, монахи знаменитого монастыря Ключи, посланные в сагаунский монастырь аббатом Гюго; они первые стали называться «донами» в знак своей сузеренской власти. Благочестивая веротерпимость прежних епископов, которые среди полной мозарабской свободы поддерживали дружеские отношения с арабами и евреями, сменилась жестоким фанатизмом победоносных христиан. Как только архиепископ дон Бернардо занял толедский престол, он тотчас же воспользовался отсутствием Альфонса VI, чтобы нарушить королевские обязательства. В силу торжественного договора, подписанного королем, главная мечеть должна была оставаться во власти мавров. Но архиепископ, подчинив своему влиянию королеву, сделал ее своей сообщницей; однажды ночью, в сопровождении клира и рабочих, он ворвался в мечеть и освятил ее; на следующий день, когда сарацины пришли молиться, обращая лица к восходящему солнцу, оказалось, что храм превращен в католический собор... Архиепископ дон Мартин предводительствовал войсками в походе против андалузских мавров; он завоевывал земли и участвовал, сопровождая Аль-

фонса VIII, в аларкосской битве... Знаменитый архиепископ дон Родриго написал хронику Испании, наполнив ее чудесами, и сам созидал исторические события, проводя больше времени на коне, чем в соборе; в битве Лас Навас он подал пример храбрости, бросившись первый в бой. После победы король даровал ему двадцать деревень и между прочим Талаверу де ла Реина. Дон Санчо, сын дона Хайме Арагонского и брат королевы Кастильской больше ценил свое звание войскового начальника, чем свою толедскую архиепископскую митру; узнав о приближении мавров, он выступил навстречу им в мартосские равнины, ринулся в битву и был убит врагами, которые отрезали ему руки и насадили его голову на пику... Дон Хиль де Альборноз, знаменитый кардинал отправился в Италию, спасаясь от дона Педро Жестокоего и, будучи очень умелым вождем, – вновь завоевал земли пап, убежавших в Авиньон... Дон Гутьере III воевал против мавров при доне Хуане II. Дон Альфонсо де Акуния сражался при Энрико IV во время гражданских войн. Этот ряд прелатов, ставших государственными людьми и воинами, богатых и могущественных, как монархи, завершился кардиналом Мендоцца, который участвовал в битве при Торо, в завоевании Гренады и потом правил этой страной; такой же воинственностью отличался Хименес де Циснерос, который, не найдя более мавров на полуострове, переправился через море и двинулся на Оран, потрясая крестом, превращенным в оружие для наступления.

Орлов сменили прелаты, напоминавшие скорее домашних птиц. После архиепископов в железных кольчугах потянулся длинный ряд архиепископов, любивших роскошь и богатство; их воинственный дух проявлялся только в интригах; они вели вечные процессы с городами, с корпорациями и с частными лицами, ограждая огромные богатства, собранные их предшественниками. Более щедрые из них, как например Тгвера, воздвигали дворцы, покровительствовали художникам, Греко, Беругвете и другим, и таким образом положили в Толедо начало возрождению, представлявшему как бы отголосок возрождения итальянского. Скупые, как например Квируга, сокращали расходы церкви, привыкшей к роскоши; они становились банкирами королей, одалживали миллионы дукатов австрийским монархам, которые хотя и владели огромной империей, в пределах которой никогда не заходило солнце, но все же нищенствовали, когда запаздывали суда из Америки.

Собор был вполне произведением своих архиепископов. Все они оставили на нем свой отпечаток. Самые сильные духом, самые воинственные создали остов собора, эту каменную гору и деревянную чашу, составлявшую скелет здания; более развитые, те, которые жили в эпоху утонченного вкуса, соорудили резные решетки, порталы, представлявшие настоящее кружево из камня, обогатили собор картинами и драгоценными камнями, превратившими ризницу в хранилище истинных сокровищ. Постройка гигантского собора длилась около трех веков. Когда сооружены были стены и колонны, готическое искусство находилось в первобытном периоде своего развития. В течение следующих двух с половиною веков готика сильно подвинулась вперед и ход её развития ясно обозначился в архитектуре собора. Подножия колонн были грубой работы, без всяких украшений; колонны устремлялись вверх со строгой простотой и своды покоились на капителях готического стиля, не достигнувшего еще цветистости позднейшей эпохи. Но верхняя часть, построенная двумя веками позже, окна с их многоцветными стрельчатыми дугами, свидетельствовали о пышности искусства, достигнувшего своего апогея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.